

Борис Акунин

Пелагия и чёрный монах

ПРОЛОГ

ЯВЛЕНИЕ ВАСИЛИСКА

...в несколько широких шагов приблизился к монахине. Выглянул в окно, увидел взмыленных лошадей, расхристанного чернеца и грозно сдвинул свои кустистые брови.

– Крикнул мне: “Матушка, беда! Он уж тут! Где владыка?”, – донесла Пелагия преосвященному вполголоса.

При слове “беда” Митрофаний удовлетворенно кивнул, как если б и не ожидал ничего иного от этого безмерно длинного, никак не желающего закончиться дня. Поманил пальцем ободранного, запыленного вестника (по манере, да и из самого крика уже ясно было, что примчавшийся невесть откуда монах именно что вестник, причем из недобрых): а ну, поднимись-ка.

Коротко, но глубоко, чуть не до земли поклонившись епископу, чернец бросил вожжи и кинулся в здание суда, расталкивая выходившую после процесса публику. Вид божьего служителя – непокрытого, с расцарапанным в кровь лбом – был настолько необычен, что люди оглядывались, кто с любопытством, а кто и с тревогой. Бурное обсуждение только что закончившегося заседания и удивительного приговора прервалось. Похоже, что намечалось, а может, уже и произошло некое новое Событие.

Вот и всегда оно так в тихих заводях вроде нашего мирного Заволжска: то пять или десять лет тишь да гладь и сонное оцепенение, то вдруг один за другим такие ураганы задуют – колокольни к земле гнет.

Нехороший гонец взбежал по белой мраморной лестнице. На верхней площадке, под весами слепоглазой Фемиды замялся, не сразу поняв, куда поворачивать, вправо или влево, но тут же увидел в дальнем конце

рекреации кучку столичных корреспондентов и две чернорясные фигуры, большую и маленькую: владыку Митрофания и рядом с ним очкастую сестрицу, что давеча стояла в окне.

Грохоча по гулкому полу сапожищами, монах бросился к архиерею и еще издали возопил:

– Владыко, он уж тут! Близехонько! За мной грядет! Огромен и черен!

Петербургские и московские журналисты, среди которых были и настоящие светила этой профессии, прибывшие в Заволжск ради громкого процесса, уставились на дикообразного рясофора с недоумением.

– Кто грядет? Кто черен? – пророкотал преосвященный. – Говори ясно. Ты кто таков? Откуда?

– Смиренный чернец Антипа из Арарата, – торопливо поклонился заполошный, потянулся скуфью сорвать, да не было скуфьи, обронил где-то. – Василиск грядет, кто ж еще! Он, заступник! Со скита исшел. Велите, владыко, в колокола звонить, святые иконы выносить! Свершается пророчество Иоанново! “Се, гряду скоро, и мзда моя со мною, воздати кое-муждо по делом его”! Конеч-е! – завывал он. – Всему конец!

Столичные люди, те ничего, известия о конце света не испугались, только наострили уши и ближе к монаху придвинулись, а вот судейский уборщик, который уже начал в коридоре махать своей метлой, – тот от страшного крика на месте обмер, орудие свое уронил, закрестился.

А предвестник Апокалипсиса членораздельно говорить от тоски и ужаса более не мог – затрясся всем телом, и по мучнистому, обросшему бородой лицу покатались слезы.

Как всегда в критических случаях, преосвященный проявил действенную решительность. Применив древний рецепт, гласящий, что лучшее средство от истерики – хорошая затрещина, Митрофаний вlepил рыдальцу своей увесистой дланью две звонкие оплеухи, и монах сразу трястись и выть перестал. Захлопал глазами, икнул. Тогда, укрепляя успех, архиерей схватил гонца за ворот и поволок к ближайшей двери, за которой располагался судебный архив. Пелагия, жалостно ойкнувшая от звука пощечин, семенила следом.

На архивариуса, собравшегося было побаловаться чайком по случаю окончания присутствия, епископ только бровью двинул – чиновника как ветром сдуло, и духовные особы остались в казенном помещении втроем.

Владыка усадил всхлипывающего Антипу на стул, сунул под нос стакан с едва початым чаем – пей. Выждал, пока монах, стуча о стекло зубами, смочит стиснувшееся горло, и нетерпеливо спросил:

– Ну, что там у вас в Арарате стряслось? Сказывай.

Корреспонденты так и остались перед запертой дверью. Постояли некоторое время, на все лады повторяя загадочные слова “василиск” и “Арарат”, а потом понемногу стали расходиться, так и оставленные в полнейшей озадаченности. Оно и понятно – люди всё были приезжие, в наших заволжских святынях и легендах не сведущие. Местные, те сразу бы сообразили.

Однако, поскольку и среди наших читателей могут случиться люди посторонние, в Заволжской губернии никогда не бывавшие и даже, возможно, о ней не слышавшие, прежде чем описать разговор, который произошел в архивном помещении, сделаем некоторые разъяснения, могущие показаться чересчур пространными, но для ясности дальнейшего повествования совершенно необходимые.

* * *

С чего бы уместнее начать?

Пожалуй, с Арарата. Вернее, с Нового Арарата, Ново-Араратского монастыря, прославленной обители, что находится на самом севере нашей обширной, но малонаселенной губернии. Там, среди вод Синего озера, по своим размерам более похожего на море (в народе его так и называют: “Сине-море”), на лесистых островах, издревле спасались от суеты и злобы святые старцы. По временам монастырь приходил в запустение, так что на всем архипелаге по уединенным кельям и пустынькам оставалась лишь малая горстка отшельников, но вовсе не угасал никогда, даже в Смутное время.

У такой живучести имелась одна особенная причина, именуемая “Василисков скит”, но о ней мы расскажем чуть ниже, ибо скит всегда существовал как бы наособицу от собственно монастыря. Последний же в девятнадцатом столетии, под воздействием благоприятных условий нашего мирного, спокойно устроенного времени стал что-то уж очень пышно расцветать – сначала благодаря моде на северные святыни, распространившейся среди состоятельных богомольцев, а в совсем недавнюю пору радением нынешнего архимандрита отца Виталия Ц, именуемого так, потому что в прошлом столетии в обители уже был настоятель того же прозвания.

Этот незаурядный церковный деятель привел Новый Арарат к доселе небывалому процветанию. Будучи приукажен заведовать тихим островным монастырем, высокопреподобный справедливо рассудил, что мода – особа ветреная и, пока она не обратила свой взор в сторону какой-либо иной, не менее почтенной обители, надобно извлечь из притока пожертвований всю возможную пользу.

Начал он с замены прежней монастырской гостиницы, ветхой и худосодержанной, на новую, с открытия превосходной постной кухмистерской, с устройства лодочных катаний по протокам и бухточкам, чтоб приезжие из числа состоятельных людей не спешили уезжать из благословенных мест, которые по своим красотам, чистоте воздуха и общей природной умиленности никак не уступают лучшим финским курортам. А

потом, искусно расходуя образовавшийся излишек средств, принялся понемногу создавать сложное и весьма доходное хозяйство, с механизированными фермами, иконописной фабрикой, рыболовной флотилией, коптильнями и даже скобяным заводиком, изготавливающим лучшие во всей России оконные задвижки. Построил и водопровод, и даже рельсовую дорогу от пристани к складам. Кое-кто из опытных старцев зароптал, что жить в Новом Арарате стало неспасительно, но голоса эти звучали боязливо и наружу почти вовсе не просачивались, заглушаемые бодрым стуком кипучего строительства. На главном острове Ханаане настоятель возвел множество новых зданий и храмов, которые поражали массивностью и великолепием, хотя, по мнению знатоков архитектуры, не всегда отличались непогрешительным изяществом.

Несколько лет назад ново-араратское “экономическое чудо” приезжала исследовать специальная правительственная комиссия во главе с самим министром торговли и промышленности многоумным графом Литте – нельзя ли позаимствовать опыт столь успешного развития для пользы всей империи.

Оказалось, что нельзя. По возвращении в столицу граф доложил государю, что отец Виталий является адептом сомнительной экономической теории, полагающей истинное богатство страны не в природных ресурсах, а в трудолюбии населения. Хорошо архимандриту, когда у него население особенное: монахи, выполняющие все работы под видом монастырского послушания, да еще безо всякого жалования. Стоит такой работник у маслобойной машины или, скажем, токарного станка и не думает ни о семье, ни о бутылке – знай себе душу спасает. Отсюда и качество продукции, и ее немыслимая для конкурентов дешевизна.

Для Российского государства эта экономическая модель решительно не годилась, но в пределах вверенного отцу Виталию архипелага явила поистине замечательные плоды. Пожалуй, монастырь со всеми его поселками, мызами, хозяйственными службами и сам напоминал собою небольшое государство – если не суверенное, то, во всяком случае, обладающее полным самоуправлением и подотчетное единственно губернскому архиерею преосвященному Митрофанию.

Монахов и послушников на островах при отце Виталии стало числиться до полутора тысяч, а население центральной усадьбы, где кроме братии

проживало еще и множество наемных работников с чадами и домочадцами, теперь не уступало уездному городу, особенно если считать паломников, поток которых, вопреки опасениям настоятеля, не только не иссяк, но еще и многократно увеличился. Теперь, когда монастырская экономика прочно встала на ноги, высокопреподобный, верно, охотно обошелся бы и без богомольцев, которые лишь отвлекали его от неотложных дел по управлению ново-араратской общиной (ведь среди паломников попадались знатные и влиятельные особы, требующие особенного обхождения), но тут уж ничего поделать было нельзя. Люди шли и ехали из дальнего далека, а после еще плыли через огромное Синее озеро на монастырском пароходе не для того, чтобы посмотреть на промышленные свершения рачительного пастыря, а чтоб поклониться ново-араратским святыням и первой из них – Василискову скиту.

Сей последний, впрочем, для посещений был совершенно недоступен, ибо находился на малом лесистом утесе, носящем название Окольного острова и расположенном прямо напротив Ханаана, но только не обжитой его стороны, а пустынной. Богомольцы, прибывавшие в Новый Арарат, имели обыкновение опускаться у воды на колени и благоговейно взирать на островок, где обретались святые схимники, молителю за всё человечество.

Однако про Василисков скит, а также про его легендарного основателя, как и было обещано, расскажем пообстоятельней.

* * *

Давным-давно, лет шестьсот, а может и восемьсот назад (в точной хронологии “Житие святого Василиска” несколько путается) брел через дремучие леса некий отшельник, про которого достоверно известно лишь, что звали его Василиском, что лет он был немалых, жизнь прожил трудную и в начале своем какую-то особенно несправедную, но на склоне лет озаренную светом истинного раскаяния и жажды Спасения. Во искупление прежних, преступно прожитых лет взял монах обет: обойти всю землю, пока не сыщется места, где он сможет лучше всего послужить Господу. Иногда в каком-нибудь благочестивом монастыре или, наоборот, среди безбожных язычников ему казалось, что вот оно, то самое место, где должно остаться смиренному иноку Василиску, но вскорости старца брало сомнение – а ну как некто другой, пребывая там же, послужит Всевышнему не хуже, и, подгоняемый этой мыслью, которая безусловно ниспосылалась ему свыше, монах шел дальше и нигде не находил того, что искал.

И вот однажды, раздвинув густые ветви ельника, он увидел перед собой синюю воду, начинавшуюся прямо от края леса и уходившую навстречу хмурому небу, чтобы сомкнуться с ним. Прежде Василиску видеть так много воды не приходилось, и в своем простодушии он принял это явление как великое чудо Господне, и преклонил колена, и молился до самой темноты, а потом еще долго в темноте.

И было иноку видение. Огненный перст рассек небо на две половины, так что одна сделалась светлая, а другая черная, и вонзился во вспенившиеся воды. И громовой голос возвестил Василиску: “Нигде боле не ищи. Ступай туда, куда показано. Там место, от коего до Меня близко. Служи Мне не среди человеков, где суета, а среди безмолвия, и через год призову тебя”.

В спасительном своем простодушии монах и не подумал усомниться в возможности осуществления этого диковинного требования – идти в середину моря, и пошел, и вода прогибалась под ним, но держала, чему Василиск, памятуя о евангельском водохождении, не очень-то и удивлялся. Шел себе и шел, читая “Верую” – всю ночь, и после весь день, а к вечеру стало ему страшно, что не найдет он среди водной пустыни того места, куда указал перст. И тогда чернецу было явлено второе чудо кряду, что в житиях святых бывает нечасто.

Когда стемнело, старец увидел вдали малую огненную искорку и повернул на нее, и со временем узрел, что это сосна, пылающая на вершине холма, а холм восстает прямо из воды, и за ним еще земля, пониже и пошире (это был нынешний Ханаан, главный остров архипелага).

И поселился Василиск под опаленной сосной в пещере. Прожил там некоторое время в полном безмолвии и непрестанном мысленном молитвочтении, а год спустя Господь исполнил обещанное – призвал раскаявшегося грешника к Себе и дал ему место у Своего Престола. Скит же, а впоследствии образовавшийся по соседству монастырь был назван Новым Араратом в ознаменование горы, которая единственно осталась возвышаться над водами, когда “разверзошася вси источники бездны и хляби небесные”, и спасла праведных.

“Житие” умалчивает, откуда преемники Василиска узнали про Чудо о Персте, если старец хранил столь неукоснительное молчание, но будем снисходительны к древнему преданию. Делая уступку скептицизму нашего рационалистического века, допускаем даже, что святой основатель скита добрался до островов не чудодейственным водохождением, а на каком-нибудь плоту или, скажем, на выдолбленном бревне – пускай. Но вот вам факт неоспоримый, проверенный многими поколениями и, если угодно, даже подтверждаемый документально: никто из схимников, селившихся в подземных кельях Василискова скита, не ожидал Божьего призвания долгое время. Через полгода, через год, много через полтора все избранники, алкавшие спасения, достигали желаемого и, оставив позади кучку костяного праха, возносились из царства земного в Иное, Небесное. И дело тут не в скудной пище, не в суровости климата. Известны ведь многие другие скиты, где отшельники свершали еще не такие подвиги пустынножительства и плоть умерщвляли куда истовей, а только Господь прощал и принимал их гораздо неспешнее.

Потому и пошла молва, что из всех мест на земле Василисков скит к Богу самый ближний, расположенный на самой околице Царствия Небесного, отсюда и другое его название: Окольный остров. Некоторые, кто на архипелаг впервые приехал, думали, что это он так назван из-за близости к Ханаану, где все храмы и пребывает архимандрит. А он, островок этот, не от архимандрита, он от Бога был близко.

Жили в том ските всегда только трое особенно заслуженных старцев, и для

ново-араратских монахов не было выше чести, чем завершить свой земной путь в тамошних пещерах, на костях прежних праведников.

Конечно, далеко не все из братии рвались к скорому восшествию в Иное Царство, потому что и среди монахов многим земная жизнь представляется более привлекательной, чем Следующая. Однако же в волонтерах недостатка никогда не бывало, а напротив имелась целая очередь жаждущих, в которой, как и положено для всякой очереди, случались ссоры, споры и даже нешуточные интриги – вот как иным монахам не терпелось поскорее переплыть узкий проливчик, что отделял Ханаан от Окольного острова.

Из трех схимников один считался старшим и посвящался в игумены. Только ему скитский устав разрешал отворять уста – для произнесения не более, чем пяти слов, причем четыре из них должны были непременно происходить из Священного Писания и лишь одно допускалось вольное, в котором обычно и содержался главный смысл сказанного. Говорят, в древние времена схиигумену не позволялось и этого, но после того, как на Ханаане возродился монастырь, пустынники уже не тратили время на добывание скудного пропитания – ягод, кореньев и червей (более ничего съедобного на Окольном острове отродясь не водилось), а получали все необходимое из обители. Теперь святые отшельники коротали время, вырезая кедровые четки, за которые паломники платили монастырю немалые деньги – бывало, до тридцати рублей за одну низку.

Раз в день к Окольному подплывала лодка – забрать четки и доставить необходимое. К лодке выходил скитоначальник и произносил короткую цитацию, в которой содержалась просьба, обычно практического характера: доставить неких припасов, или лекарств, или обувь, или теплое покрывало. Предположим, старец говорил: “Принесе ему и даде одеяло” или “Да принесется вода грушева”. Тут начало речений взято из Книги Бытия, где Исаак обращается к сыну своему Исаву, а последнее слово подставлено по насущной надобности. Лодочник запоминал сказанное, передавал слово в слово отцу эконому и отцу келарю, а те уж проникали в смысл – бывало, что и неуспешно. Взять хоть ту же “воду грушеву”. Рассказывают, однажды схиигумен мрачно изрек, показывая посох одного из старцев: “Излияся вся утроба его”. Монастырское начальство долго листало Писание, обнаружило эти странные слова в “Деяниях апостолов”, где описано самоубийство презренного Иуды, и ужасно перепугалось, решив, что схимник свершил

над собой худший из смертных грехов. Три дня звонили в колокола, сторожайше постились и служили молебны во очищение от скверны, а после оказалось, что со старцем всего лишь приключилась поносная хворь и схиигумен просил прислать грушевого отвара.

Когда старейший из пустынников говорил лодочнику: “Ныне отпускаеши раба Твоего”, это означало, что один из отшельников допущен к Господу, и на образовавшуюся вакансию тут же поступал новый избранник, из числа очередников. Иногда роковые слова произносил не схиигумен, а один из двух прочих молчальников. Так в монастыре узнавали, что прежний старец призван в Светлый Чертог и что в скиту отныне новый управитель.

Как-то раз, тому лет сто, на одного из схимников напал приплывший с дальних островов медведь и принялся драть несчастного. Тот возьми да закричи: “Братие, братие!” Прибежали двое остальных, прогнали косолапого посохами, но после жить с нарушившим обет молчания не пожелали – отослали в монастырь, отчего изгнанный стал скорбен духом и вскоре помер, больше ни разу не растворив уст, но был ли допущен пред Светлые Господни Очи или пребывает среди грешных душ, неизвестно.

Что еще сказать про пустынников? Ходили они в черном одеянии, которое представляло собой род грубоотканого мешка, перетянутого вервием. Куколь у схимников был узок, опущен на самое лицо и сшит краями в ознаменование полной закрытости от суетного мира. Для глаз в этом остроконечном колпаке проделывались две дырки. Если паломники, молившиеся на ханаанском берегу, видели на островке кого-то из святых старцев (это бывало крайне редко и почиталось за особую удачу), то взору наблюдающих представал некий черный куль, медленно передвигающийся среди мшистых валунов – будто и не человек вовсе, а бесплотная тень. Ну а теперь, когда рассказано и про Новый Арарат, и про скит, и про святого Василиска, пора вернуться в судебный архив, где владыка Митрофаний уже приступил к допросу ново-араратского чернеца Антипы.

* * *

“Что со скитом неладно, наши уж давно говорят. (Так . начал свой невероятный рассказ немного успокоившийся от оплеух и чаю брат Антипа.) В самое Преображение, к ночи, вышел Агапий, послушник, на косу постирать исподнее для старшей братии. Вдруг видит – у Окольного острова на воде как бы тень некая. Ну, тень и тень, мало ль чего по темному времени привидится. Перекрестился Агапий и знай себе дальше полощет. Только слышит: будто звук тихий над водами. Поднял голову – Матушка-Богородица! Черная тень висит над волнами, оных словно бы и не касаясь, и слова слышно, неясно. Агапий разобрал лишь: “Проклинаю” и “Василиск”, но ему и того довольно было. Побросал недостиранное, понесся со всех ног в братские келии и давай кричать – Василиск, мол, воротился, собою гневен, всех проклятию предает.

Агапий – отрок глупый, в Арарате недавно, и веры ему ни от кого не было, а за брошенное белье, волною смытое, его отец подкеларь еще и за виски оттащал. Но после того стала черная тень и другим из братии являться: сначала отцу Иларию, старцу весьма почтенному и воздержному, потом брату Мельхиседеку, после брату Диомиду. Всякий раз ночью, когда луна. Слова всем слышались различные: кому проклятие, кому увещание, а кому и вовсе нечленораздельное – это уж смотря в какую сторону ветер дул, но видели все одно и то же, на чем перед самым высокопреподобным Виталием икону целовали: некто черный в одеянии до пят и остроконечном куколе, как у островных старцев, парил над водами, говорил слова и грозно перст воздевал.

Архимандрит, доведавшись про чудесные явления, братию разобрал. Сказал, знаю я вас, шептунов. Один дурак ляпнет, а другие уж и рады звонить. Истинно говорят, чернец хуже бабы болтливой. И еще ругал всяко, а потом строжайше воспретил после темна на ту сторону Ханаана ходить, где Постная коса к Окольному острову тянется”.

Здесь преосвященный прервал рассказчика:

– Да, помню. Писал мне отец Виталий про глупые слухи, сетовал на монашеское дурноумие. По его суждению, проистекает это от безделья и праздности, отчего он испрашивал моего благословения привлечь на

общиннополезные работы всю братию вплоть до иеромонашеского чина. Я благословил.

А сестра Пелагия, воспользовавшись перерывом в повествовании, быстро спросила:

– Скажите, брат, а сколько примерно сажений от того места, где видели Василиска, до Окольного острова? И далеко ли в воду коса выходит? И еще: где именно тень парила – у самого скита или все же в некотором отдалении?

Антипа поморгал, глядя на суелюбопытную монашку, но на вопросы ответил:

– От косы до Окольного сажений с полета будет. А что до заступника, то допрежь меня его только издали видали, с нашего берега толком и не разглядеть. Ко мне же Василиск близехонько вышел, вот как отсюда до той картинки.

И показал на фотографический портрет заволжского губернатора на противоположной стене, до которой было шагов пятнадцать.

– Уже не “тень некая”, а так-таки сам заступник Василиск? – рыкнул на монаха епископ громоподобно и свою густую бороду пятерней ухватил, что служило у него знаком нарастающего раздражения. – Прав Виталий! Вы, чернецы, хуже баб базарных!

От грозных слов Антипа вжал голову в плечи и говорить далее не мог, так что пришлось Пелагии придти ему на помощь. Она поправила свои железные очки, убрала под плат выбившуюся прядку рыжих волос и укоризненно молвила:

– Владыко, сами всегда говорите о вредности скороспелых заключений. Дослушать бы святого отца, не перебивая.

Антипа еще пуще напугался, уверенный, что от такой дерзости архиерей вовсе в озлобление войдет, но Митрофаний на сестру не рассердился и гневный блеск в глазах поумерил. Махнул иноку рукой:

– Продолжай. Да только смотри, без вранья.

И рассказ был продолжен, хоть и несколько отягощенный оправданиями, в которые счел нужным пуститься уstraшенный Антипа.

“Я ведь почему архимандритова наказа послушался. У меня послушание травником состоять и братию лечить, кто ходить к мирскому лекарю за грех почитает. А у нас, монастырских травников, ведь как – всякую траву нужно всенепременно в день особого заступника собирать. На Постной косе, что напротив скита, самое травное место на всем Ханаане. И кирьяк произрастает от винного запойства по заступничеству великомученика Вонифатия, и охолонь-травы от блудных страсти по заступничеству преподобной Фомаиды, и лядуница в сохранение от злого очарования по заступничеству священномученика Киприяна, и много иных целительных растений. Я уж и так из-за воспрещения ни почечуйника, ни драгоморы, которые на ночной росе рвать нужно, не собирал. А на великомученицу Евфимию, что от трясовичной болезни бережет, шуша-поздняя расцветает, ее, тушу эту, и брать-то можно в одну только ночь во весь год. Разве можно было пропустить? Ну и послушался.

Как вся братия ко сну отошла, я потихоньку во двор, да за ограду, да полем до Прощальной часовни, где схимников перед помещением во скит запирают, а там уж и Постная коса близко. Сначала боязно было, всё крестился, по сторонам оглядывался, а потом ничего, осмелел. Шушу-позднюю искать трудно, тут привычка нужна и немалое старание. Темно, конечно, но у меня при себе лампа была, масляная. Я ее с одной стороны тряпицей завесил, чтоб не увидали. Ползаю себе на карачках, цветки обрываю и уж не помню ни про архимандрита, ни про святого Василиска. Спустился к самому краю гряды, дальше уж только вода да кое-где камни торчат. Хотел поворачивать обратно. Вдруг слышу из темноты...”

От страшного воспоминания монах сделался бледен, часто задышал, стал клацать зубами, и Пелагия подлила ему из самовара кипятку.

“Благодарствую, сестрица... Вдруг из темноты голос, тихий, но проникновенный, и каждое слово ясно слышно: “Иди. Скажи всем”. Я повернулся к озеру, и стало мне до того ужасно, что уронил я и лампу, и травосборную суму. Над водою – образ смутный, узкий, будто на камне кто стоит. Только никакого камня там нет. Вдруг... вдруг сияние неземное, яркое, много ярче, чем от газовых лампад, что у нас в Ново-Арапате нынче на улицах горят. И тут уж предстал он предо мною во всей очевидности.

Черный, в рясе, за спиною свет разливается, и стоит прямо на хляби – волна мелкая под ногами плещется. “Иди, – речет. – Скажи. Быть пусту”. Молвил и перстом на Окольный остров показал. А после шагнул ко мне прямо по воде – и раз, и другой, и третий. Закричал я, руками замахал, поворотился и побежал что было мочи...”

Монах завсхлипывал, вытер нос рукавом. Пелагия вздохнула, погладила страдальца по голове, и от этого Антипа совсем расклеился.

– Побежал к отцу архимандриту, а он лается грубобранными словами – не верит, – плачущим голосом стал жаловаться он. – Посадил в скудную, под замок, на воду и корки. Четыре дни там сидел, трясся и целоденно молился, вся внутренняя ссохлась. Вышел – шатаюсь. А мне уж от высокопреподобного новое послушание уготовлено: из Ханаана на Укатай, самый дальний остров, плыть и впредь там состоять, при гадючем питомнике.

– Зачем это – гадючий питомник? – удивился Митрофаный.

– А это архимандрита доктор Коровин надоумил, Донат Саввич. Хитрого ума мужчина, высокопреподобный его слушает. Сказал, гадючий яд нынче у немцев в цене, вот мы теперь аспидов и разводим. Яд из ихних мерзких пастей давим и в немецкую землю шлем. Тьфу! – Антипа перекрестил рот, чтоб не оскверниться злым плеванием, и полез рукой за пазуху. – Только опытейшие и богомудрейшие из старцев, тайно собравшись, приговорили мне на Укатай не ехать, а самовольно бежать из Арарата к вашему преосвященству и всё, что видел и слышал, донести. И письмо мне с собою дали. Вот.

Владыка, насупившись, взял серый листок, пил пенсне, стал читать. Пелагия не церемонясь заглядывала ему через плечо.

Преосвященнейший и пречестнейший владыко!

Мы, нижепоименованные иноки Ново-Араратского общежительного монастыря, смиренно припадаем к стопам Вашего преосвященства, моля, чтоб в премудрости своей Вы не обратили на нас своего архипастырского гнева за своеволие и дерзновенность. Если мы и посмели послушаться нашего высокопреподобнейшего архимандрита, то не из стропотности, а единственно из страха Божия и ревности служения Ему. Безвременно труд

жития земного, и человеки падки на пустые вымыслы, но всё, что поведает Вашему преосвященству брат Антипа – истинная правда, ибо сей инок известен средь нас как брат нелживый, нестяжательный и к суетным мечтаниям не расположенный. А также и все мы, подписавшиеся, видели то же, что и он, хоть и не в такой близости.

Отец Виталий ожесточил против нас свое сердце и нам не внимает, а между тем в братии разброд и шатание, да и страшно: что может означать тягостное это знамение? Пошто святой Василиск, хранитель сей славной обители, перстом грозитя и на свой пресветлый скит хулу кладет? И слова “быть пугу” – к чему они? О ските ли сказаны, о монастыре ли, либо же, быть может, в еще более широком значении, о чем нам, малоумным, и помыслить боязно? Лишь Вашему преосвященству дозволено и возможно толковать эти страшные видения. Потому и молим Вас, пречестнейший владыко, не велите карать ни нас, ни брата Антипу, а пролейте на сие ужасное происшествие свет Вашей мудрости.

Просим святых молитв Ваших, низко кланяемся и остаемся недостойные Ваши сомолитвенники и многогрешные слуги

Иеромонах Илари́й

Иеромонах Мельхиседек

Инок Диомид.

– Отцом Илари́ем писано, – почтительно пояснил Антипа. – Ученейший муж, из академиков. Если б пожелал, мог бы игуменом быть или даже того выше, но вместо этого у нас спасается и мечтает в Василисков скит попасть, он на очереди первый. А теперь такое для него огорчение...

– Знаю Илари́я, – кивнул Митрофаный, разглядывая прошение. – Помню. Неглуп, искренней веры, только очень уж истов.

Архиерей снял пенсне, оценивающе осмотрел гонца. – А что это ты, сын мой, такой ободранный? И почему без шапки? Не от самого же Арарата ты лошадей гнал? По воде это вряд ли и возможно, если, конечно, ты не способен к водохождению навроде Василиска.

Этой шуткой епископ, верно, хотел ободрить монаха и привести его в более

спокойное состояние, необходимое для обстоятельной беседы, но результат вышел прямо обратный.

Антипа вдруг вскочил со стула, подбежал к узкому оконцу хранилища и стал выглядывать наружу, бессвязно бормоча:

– Господи, да как же я забыл-то! Ведь он уж тут, поди, в городе! Пресвятая Заступница, сбереги и защити!

Оборотился к владыке и зачастил:

– Я лесом ехал, к вам поспешал. Это мне исправник, как я в Синеозерске с корабля сошел, свою коляску дал, чтоб в Заволжск скорей прибыть. Уже и в Синеозерске про явление Василиска слышали. А как стал я к городу подъезжать, вдруг над соснами он!

– Да кто он-то? – в сердцах воскликнул Митрофаний.

Антипа бухнулся на колени и пополз к преосвященному, норовя ухватить за полу.

– Он самый, Василиск! Видно, за мной припустил, семиверстными шагами или по воздуху! Черный, огромный, поверх деревьев глядит и глазища пучит! Я лошадей-то и погнал. Ветки по лицу хлещут, ветер свищет, а я всё гоню. Хотел вас предупредить, что уж близко он!

Сообразительная Пелагия догадалась первой, в чем дело.

– Это он про памятник, отче. Про Ермака Тимофеевича.

Здесь нужно пояснить, что в позапрошлый год, по велению губернатора Антона Антоновича фон Гаггенау, на высоком берегу Реки поставили величественный монумент “Ермак Тимофеевич несет благую весть Востоку”. Этот памятник, самый большой во всем Поречье, составляет теперь особенную гордость нашего города, которому ничем другим перед именитыми соседями, Нижним Новгородом, Казанью или Самарой, похвастать и нечем. Должно же у каждой местности свое основание для гордости быть! У нас вот теперь есть.

Некоторыми историками считается, что знаменитый сибирский поход,

последствиям которого империя обязана большей частью своих необъятных земельных владений, Ермак Тимофеевич начал именно из нашего края, в память чего и воздвигнут бронзовый исполин. Этот ответственный заказ был доверен одному заволжскому скульптору, возможно, не столь даровитому, как иные столичные ваятели, зато истинному патриоту края и вообще очень хорошему человеку, горячо любимому всеми заволжанами за душевную широту и добросердечие. Шлем покорителя Сибири у скульптора и в самом деле получился несколько похожим на монашеский клобук, что и привело бедного брата Антипу, незнакомого с нашими новшествами, в суеверное заблуждение.

Это еще что! Прошлой осенью капитан буксира, тянувшего за собой баржи с астраханскими арбузами, выплыв из-за излучины и увидев над кручей пучеглазого истукана, с перепугу посадил всю свою флотилию на мель, так что потом по Реке несколько недель плыли зелено-полосатые шары, устремившись в родные широты. И это, заметьте, капитан, а какой спрос с убогого инока?

Объяснив Антипе ошибку и кое-как успокоив его, Митрофаний отправил монаха в епархиальную гостиницу дожидаться решения его участи. Ясно было, что возвращать беглеца к суровому ново-араратскому архимандриту невозможно, придется приискать место в какой-нибудь иной обители.

Когда же епископ и его духовная дочь остались наедине, владыка спросил:

– Ну, что думаешь про сию нелепицу?

– Верю, – без колебания ответила Пелагия. – Я смотрела брату Антипе в глаза, он не лжет. Описал, как видел, и ничего не прибавил.

Преосвященный задвигал бровями, подавляя неудовольствие. Сдержанно произнес:

– Ты это нарочно сказала, чтоб меня подразнить. Ни в каких призраков ты не веришь, уж мне ль тебя не знать.

Однако тут же спохватился, что попал в ловушку, расставленную лукавой помощницей, и погрозил ей пальцем:

– А, это ты в том смысле, что он сам верит в свои бредни. Примерещилось

ему нечто, по-научному именуемое галлюцинацией, он и принял за подлинное событие. Так?

– Нет, отче, не так, – вздохнула монахиня. – Человек это простой, не вздорный, или, как сказано в письме, “к суетным мечтаниям не расположенный”. У таких людей галлюцинаций не бывает – слишком мало фантазии. Я думаю, ему воистину явился некто и говорил с ним. И потом, не один Антипа этого Черного Монаха видел, есть ведь другие очевидцы.

Терпение никогда не входило в число достоинств губернского архиерея, и, судя по багровой краске, залившей высокий лоб и щеки Митрофания, теперь оно было исчерпано.

– А про взаимное внушение, примеры которого в монастырях столь нередки, ты позабыла? – взорвался он. – Помнишь, как в Мариинской обители сестрам стал бес являться: сначала одной, потом другой, а после и всем прочим? Расписывали его во всех подробностях и слова пересказывали, которых честным инокиням узнать неоткуда. Сама же ты и присоветовала тогда нервно-психического врача в монастырь послать!

– То было совсем другое, обычная женская истерика. А тут свидетельствуют опытные старцы, – возразила монахиня. – Непокойно в Новом Арарате, добром это не кончится. Уже и до Заволжска слухи про Черного Монаха дошли. Надо бы разобраться.

– В чем разбираться-то, в чем?! Неужто ты вправду в привидения веришь? Стыдись, Пелагия, суеверие это! Святой Василиск уж восемьсот лет как преставился, и незачем ему вокруг острова по водам крейсировать, безмозглых монахов стращать!

Пелагия смиренно поклонилась, как бы признавая полное право епископа на гневливость, но в голосе ее смирения было немного, а уж в словах и подавно:

– Это в вас, владыко, мужская ограниченность говорит. Мужчины в своих суждениях чересчур полагаются на зрение в ущерб прочим пяти чувствам.

– Четырем, – не преминул поправить Митрофаний.

– Нет, владыко, пяти. Не все, что есть на свете, возможно уловить зрением,

слухом, осязанием, обонянием и вкусом. Есть еще одно чувство, не имеющее названия, которое даровано нам для того, чтобы мы могли ощущать Божий мир не только лишь телом, но и душой. И даже странно, что я, слабая умом и духом черница, принуждена вам это изъяснять. Не вы ли множество раз говорили об этом чувстве и в проповедях, и в частных беседах?

– Я имел в виду веру и нравственное мерило, которое всякому человеку от Бога дано! Ты же мне про какую-то фата-моргану толкуешь!

– А хоть бы и про фата-моргану, – упрямо качнула головой монахиня. – Вокруг и внутри нашего мира есть и другой, невидимый, а может, даже не один. Мы, женщины, чувствуем это лучше, чем мужчины, потому что меньше боимся чувствовать. Ведь вы же, владыко, не станете опровергать, что есть места, от которых на душе светло (там обычно Божьи храмы возводят), а есть и такие, от которых по душе мурашки? И причины никакой нет, а только ускоришь шаг да еще и перекрестишься. Я всегда вот так мимо Черного Яра пробегала, с ознобом по коже. И что же? На том самом месте пушку и нашли!

Этот аргумент, приведенный Пелагией в качестве неоспоримого, требует пояснения. Под Черным Яром, расположенным в полуверсте от Заволжска, два года тому отрыли клад: старинную бронзовую мортирку, сплошь набитую червонцами и самоцветами, – видно, лежала в земле с тех времен, когда гулял по здешним краям пугачевский “енарал” Чика Зарубин, произведенный самозванцем в графы Чернышевы. То-то, поди, слез и крови пролил, собирая этакое сокровище. (Заметим кстати, что на те самые деньги и на том самом месте возведен великолепный монумент, до полусмерти напугавший брата Антипу.)

Но довод про пушку преосвященного не убедил. Митрофаний только рукой плеснул:

– Ну, про озноб это ты после себе напридумывала.

И препирались так архиерей и его духовная дочь еще долго, так что чуть вовсе не разругались. Поэтому конец спора о суеверии мы опустим и перейдем сразу к его практическому завершению, произошедшему уже не в судебном архиве, а на епископском подворье, во время праздничного

чаепития.

* * *

На чаепитие, устроенное назавтра в честь благополучного исхода судебного процесса, преосвященный позвал кроме сестры Пелагии еще одного из своих духовных чад, товарища окружного прокурора Матвея Бенционовича Бердичевского, также причастного к состоявшемуся триумфу справедливости. На столе рядом с самоваром стояла бутылка кагора, а уж сластей было истинное изобилие: и пряники, и цукаты, и всякие варенья, и непременно яблочные зефирки, до которых владыка был великий любитель.

Сидели в трапезной, где на стенах висели копии с двух любимейших Митрофанием икон: чудотворной “Умягчение злых сердец” и малоизвестной “Лобзание Христа Спасителя Иудой”, великолепно написанных, в дорогих серебряных окладах. Поместил их тут преосвященный не просто так, а со значением – в напоминание себе о главном в христианской вере: всепрощении и приятии Господом любой, даже самой подлой души, потому что нет таких душ, для которых не существует совсем никакой надежды на спасение. Об этом, в особенности о всепрощении, архиерей в силу страстности характера был склонен забывать, знал за собой этот грех и стремился преодолеть.

Поговорили об окончившемся процессе, вспоминая разные его повороты и перипетии, потом о грядущем прибавлении в семействе Бердичевского – будущий отец беспокоился из-за того, что ребенок выйдет по счету тринадцатым, а владыка над юристом посмеивался: мол, из вас, выкрестов-неофитов, вечно самые мракобесы получают, и корил Матвея Бенционовича за суеверие, постыдное для просвещенного человека.

Отсюда, от суеверия, беседа естественным образом повернула на Черного Монаха. Следует отметить, что первым об этом таинственном явлении заговорил не Кто-нибудь, а товарищ окружного прокурора, который, как мы помним, при объяснении в архиве не присутствовал и даже вовсе о нем не знал.

Оказалось, что про вчерашнюю гонку, устроенную ново-араратским монахом по улицам, уже говорит весь город. Известно стало и про явление Василиска, и про недобрые предзнаменования. Брат Антипа, нахлестывал

лошадей, мало того что переехал кошку влиятельной заволжской жительницы Олимпиады Савельевны Шестаго, но еще и кричал всякие тревожные слова – “Спасайтесь, православные!”, “Василиск грядет!” и прочее, а также требовал сообщить, где найти архиерея.

Получалось, что сестра Пелагия давеча была права: без последствий произошедшее оставить невозможно. С этим, остыв после вчерашнего раздражения, преосвященный уже не спорил, но по части принятия мер среди пирующих обнаружилось несогласие.

Все свои многочисленные успехи на архипастырском поприще Митрофаний приписывал Господу, смиренно признавая себя только видимым орудием невидимо действующей Силы, и на словах был совершеннейший фаталист, любил повторять: “Ежели Богу угодно, то непременно сбудется, а если Богу не угодно, то и мне не надобно”. Но на деле больше руководствовался максимой “На Бога надейся, а сам не плошай” и, надо сказать, плошал редко, не обременял Господа лишними заботами.

Нечего и говорить, что епископ сразу же загорелся ехать в Новый Арарат сам, чтобы вразумить и пресечь (вероятие какой-либо подлинной мистики допустить он решительно отказывался и видел в Василисковом явлении либо повальное замутнение рассудка, либо чью-то каверзу).

Осмотрительный Матвей Бенционович владыку от поездки отговаривал. Высказывался в том смысле, что слухи – материя трудносмиряемая и опасная. На каждый роток не накинешь платок. Административное вмешательство в подобных случаях дает такой же эффект, как если тушить пожар керосином – только пуще огонь распалить. Предложение Бердичевского было следующее: преосвященному на острова ни в коем случае не плыть и вообще делать вид, будто ничего там особенного не происходит, а потихоньку послать в Новый Арарат толкового и тактичного чиновника, который во всем разберется, найдет источник слухов и представит исчерпывающий доклад. Ясно было, что под “толковым чиновником” Матвей Бенционович имеет в виду себя, являя всегдашнюю готовность забыть обо всех текущих делах и даже семейных обстоятельствах, если может принести пользу своему духовному наставнику.

Что до Пелагии, то, соглашаясь с Бердичевским относительно нецелесообразности архиерейской инспекции, монахиня не видела резона и в откомандировании на острова светского человека, который, во-первых, может не понять всей тонкости монастырского быта и монашеской психологии, а во-вторых... Нет, лучше уж привести этот второй аргумент дословно, чтобы он целиком остался на совести полемистки.

– В вопросах, касающихся непостижимых явлений и душевного трепета, мужчины слишком прямолинейны, – заявила Пелагия, быстро пощелкивая спицами – после третьего стакана чаю она, испросив у владыки позволения, достала вязанье. – Мужчины нелюбопытны ко всему, что им представляется неважным, а в неважном подчас таится самое существенное. Где нужно что-нибудь построить, а еще лучше сломать – там мужчинам равных нет. Если же нужно проявить терпение, понимание, а возможно, и сострадание, то лучше доверить дело женщине.

– Так женщина при виде призрака сразу в обморок бухнется или того пуще истерику закатит, – поддразнил инокиню архиерей. – И не выйдет никакого толку.

Пелагия посмотрела на поползший вкривь и вкось ряд, вздохнула, но распускать не стала – пусть уж будет, как будет.

– Нипочем женщина в обморок не упадет и истерики не устроит, если рядом мужчин нет, – сказала она. – Женские обмороки, истерики и плаксивость – это все мужские выдумки. Вам хочется нас слабыми да беспомощными представлять, вот мы под вас и подстраиваемся. Для дела было бы лучше всего, если б вы, отче, благословили дать мне отпуск недельки на две, на три. Я бы съездила на Ханаан, поклонилась тамошним святыням, а заодно и посмотрела, что за призрак у них там витает над водами. В училище же с моими девочками пока позанимались бы сестра Аполлинария и сестра Амвросия. Одна гимнастикой, другая литературой, и всё отлично бы устроилось...

– Не выйдет, – с видимым удовольствием прервал мечтания духовной дочери преосвященный. – Или ты забыла, Пелагитешка, что на Арарат монахиням хода нет?

И этим инокине сразу рот закрыл.

В самом деле, по суровому ново-араратскому уставу черницам и послушницам путь на острова был заказан. Постановление это древнее, трехсотлетней давности, но и поныне исполнялось неукоснительно.

Так было не всегда. В старину на Ханаане рядом с мужским монастырем располагалась и женская обитель, только от этого соседства стали происходить всякие соблазны и непотребства, поэтому, когда патриарх Никон, радея о восстановлении чести иноческого сословия, повсеместно устроил монастырские уставы, Ново-Араратскую женскую обитель упразднили и монахиням на Синем озере появляться запретили. Мирянкам на богомолie можно, и многие ездили, а Христовым невестам – невестам – нельзя, для них другие святыни есть.

Пелагия, кажется, хотела что-то возразить Митрофанию, но, взглянув на Бердичевского, промолчала. Таким образом дискуссия о Черном Монахе, затеянная триумвиратом умнейших людей Заволжской губернии, зашла в тупик.

Разрешил затруднение, как обычно и случалось в подобных случаях, преосвященный Митрофаний – во всегдашней своей парадоксальной манере. У владыки была целая теория о полезности парадоксов, которые имеют свойство опрокидывать слишком уж громоздкие построения человеческого разума, тем самым открывая неожиданные и подчас более короткие пути к решению проблематических задач. Архиерей любил взять и огорошить собеседника какой-нибудь неожиданной фразой или невообразимым решением, предварительно приняв вид самой мудрой и строгой сосредоточенности.

Вот и теперь, когда доводы были исчерпаны, не приведя ни к какому выводу, и наступило удрученное молчание, владыка нахмурил белый, в три вертикальные морщины лоб, смежил веки и стал перебирать сандаловые четки своими замечательно белыми и ухоженными пальцами (к рукам Митрофаний относился с подчеркнутой заботливостью и почти никогда не появлялся вне помещения без шелковых перчаток, объясняя это тем, что духовное лицо, прикасающееся к Святым Дарам, должно наблюдать руки как можно уважительней).

Посидев так с минуту, преосвященный снова открыл свои синие глаза, в которых сверкнула искорка, и сказал тоном непререкаемости:

– Алеша поедет, Ленточкин.

Матвей Бенционович и Пелагия только ахнули.

* * *

Даже если нарочно постараться, вряд ли было бы возможно выдумать более парадоксального кандидата для тайной инспекции по деликатнейшему внутрицерковному делу.

Алексей Степанович Ленточкин, которого из-за юности лет и румяной припухлости щек за глаза называли не иначе как Алешей (а многие так и в глаза – он не обижался), появился у нас в городе недавно, но сразу попал в число особенных архиереевых фаворитов.

Для того, впрочем, имелись и вполне извинительные основания, поскольку Алексей Степанович был сыном старинного товарища владыки, который, как известно, до пострига служил кавалерийским офицером. Этот сослуживец Митрофания погиб майором на последней Турецкой войне, оставив вдову с двумя малютками, дочкой и сыном, и почти безо всяких средств к существованию.

Мальчик Алешенька рос каким-то очень уж смышленным, так что в одиннадцать лет запросто производил интегральные исчисления, а к двадцати сулился выйти прямиком в гении по естественной либо по математической части.

Ленточкины жили не в Заволжске, а в большом университетском городе К., тоже расположенном на Реке, но ниже по течению, так что когда Алеше пришло время определяться на учебу, его не только приняли в тамошний университет безо всякой платы, но даже еще и назначили именную стипендию, чтобы учился и взращивал свой талант во славу родного города. Без стипендии учиться он бы не смог, даже и бесплатно, потому что семья была совсем недостаточная.

К двадцати трем годам, когда до окончания курса оставалось не столь уж далеко, Алексей Степанович окончательно вышел на линию нового Эвариста Галуа или Михаэла Фарадея, что признавали все окружающие и о чем он сам говорил не тушуясь. Однако же кроме больших способностей юноша обладал еще и огромным самомнением, что не редкость у рано созревших талантов. Был он непочтителен к авторитетам, дерзок, остер на язык и заносчив, что, как известно, тому же Эваристу Галуа помешало

достичь зрелого возраста и поразить мир всем блеском своего многосулящего гения.

Нет, Алексея Степановича не застрелили на дуэли, подобно юному французу, но попал и он в историю, вышедшую ему боком.

Однажды он посмел не согласиться с отзывом на свой не то химический, не то физический трактат – отзывом, начертанным рукой самого Серафима Викентьевича Носачевского, светила отечественной науки, а также тайного советника и проректора К-ского университета. В этом отзыве маститый ученый недостаточно восхитился выводами даровитого студента, чем привел Ленточкина в бешенство. Молодой человек приписал к отзыву Носачевского пренахальную ремарку и отослал тетрадь обратно.

Ученый оскорбился ужасно (в ремарке подвергались сомнению сделанные им открытия и вообще ценность вклада его превосходительства в науку) и, применив административную власть, велел наглеца именной стипендии лишить.

Выходка Алексея Степановича, конечно, была возмутительна, но, учитывая молодость и несомненную одаренность студента, Носачевский мог бы обойтись и менее суровой карой. Лишение стипендии означало, что Ленточкину придется из университета уходить и срочно поступать на какую-нибудь службу – хоть счетоводом в пароходство, а стало быть, всем великим мечтам конец и могильный крест.

Жестокость проректорова вердикта многие осуждали, некоторые подбивали Алексея Степановича пойти повиниться – мол, Носачевский суров да отходчив, но гордость не позволила. Юноша избрал другой путь, вообразив себя рыцарем, вступившим в единоборство с драконом. И сразил-таки змея смертоносным ударом. Отомстил так, что пришлось господину тайному советнику...

Но не станем забегать вперед. История достойна того, чтобы рассказать ее по порядку.

У Серафима Викентьевича Носачевского имелась одна слабость, известная всему городу, – болезненное сластолюбие. Сей жрец науки, хоть и достиг немалых уже лет, не мог спокойно видеть хорошенькой мордашки или кудрявого завиточка над ушком – разом превращался в козлоногого сатира,

причем не делал различия меж приличными дамами и кокотками самого последнего разбора. Если такая безнравственность и была прощаема обществом, то лишь из уважения к корифею К-ской учености, да еще потому, что Носачевский свои эскапады напоказ не выставлял, соблюдал разумную приватность.

Вот в эту-то пяду наш юный Парис его и поразил.

Был Алеша чудо как хорош собой, но не мужественной, а скорее девичьей красотой: кудрявый, густобровый, с пушистыми, изящно загнутыми ресницами, с персиковым пушком на пунцовых щеках – одним словом, из той породы красавчиков, что очень долго не старятся, лет до сорока сохраняя свежий цвет лица и глянцевость кожи, зато потом быстро начинают жухнуть и морщиниться, будто надкушенное и позабытое яблоко.

В свои невеликие годы Алеша казался еще юнее действительного возраста – чистый паж Керубино. Поэтому, когда он нарядился в сестрино выходное платье, нацепил пышный парик, приклеил мушку да подкрасил помадой губы, из него получилась такая убедительная чертовка, что плотоядный Серафим Викентьевич никак не мог оставить ее без внимания, тем более что соблазнительная девица как нарочно всё прогуливалась близ особняка его превосходительства.

Выслал Носачевский к фланерке камердинера. Тот доложил, что мамзель точно из гулящих, но с большим разбором, по Парижской улице прохаживается не с целью заработка, а для моциона. Тогда сатир велел слуге срочно затянуть себя в корсет, надел атласный жилет и бархатный сюртук в золотистую искорку и отправился вести переговоры самолично.

Чаровница смеялась, стреляла поверх веера блестящими глазками, но идти к Серафиму Викентьевичу отказалась и вскоре удалилась, совершенно закружив ученому мужу голову.

Два дня он никуда не отлучался из дому, всё выглядывал из окна, не появится ли нимфа вновь.

Появилась – на третий. И на сей раз поддалась на уговоры, на посулы сапфирового колечка в придачу к двумстам рублям. Но поставила условие: чтоб кавалер снял в гостинице “Сан-Суси”, заведении роскошном, но несколько сомнительном в смысле репутации, самый лучший номер и

явился туда на свидание к десяти часам вечера. Счастливый Носачевский на все это согласился и без пяти минут десять, с преогромным букетом роз, уже стучался в дверь заранее снятого апартамента.

В гостиной горели две свечи и пахло восточными благовониями. Стройная высокая фигура в белом протянула к проректору руки, но тут же со смехом отпрянула и затеяла с изнывающим от страсти Носачевским легкий флирт в виде игривого бегания вокруг стола, а когда Серафим Викентьевич совсем запыхался и попросил пощады, был явлен ультиматум: беспрекословно выполнять все распоряжения победительницы.

Его превосходительство охотно капитулировал, тем более что кондиции звучали соблазнительно: красавица сама разденет любовника и введет его в будуар.

Трепеща от сладостных предвкушений, Носачевский дал легким, стремительным пальцам снять с себя все одежды. Не противился он и когда фантазерка завязала ему глаза платком, надела на голову кружевной чепчик, а ревматическое колено обмотала розовой подвязкой.

– Идем в обитель грез, мой утенок, – шепнула коварная искусительница и стала подталкивать ослепшего проректора в сторону спальни.

Он услышал скрип открывающейся двери, затем получил весьма ощутимый толчок в спину, пробежал несколько шагов и чуть не упал. Створка сзади захлопнулась.

– Пупочка! – недоуменно позвал Серафим Викентьевич. – Лялочка! Где же ты?

В ответ грянул дружный хохот дюжины грубых глоток, и нестройный хор завопил:

К нам приехал наш любимый Серафим Викентьич да-ра-гой!

И после, уже совсем безобразно, с мяуканьем и подвыванием:

Сима, Сима, Сима, Сима, Сима, Сима, Сима-Сима-Сима-Сима, Сима, пей до дна!

Носачевский в ужасе сорвал повязку и увидел, что на бескрайней кровати а-ля Луи-Кенз рядом сидят студенты К-го университета, из самых пьющих и отчаянных, нагло разглядывают непристойную наготу своего попечителя, дуют прямо из горлышка драгоценное шампанское, а фрукты и шоколад уже успели сожрать.

Только теперь несчастному проректору стало ясно, что он пал жертвой заговора. Серафим Викентьевич кинулся к двери и стал рвать ручку, но открыть ее не мог – мстительный Алеша запер изнутри. На улюлюканье и крики через служебную дверь прибежали коридорные, а потом и городской с улицы. В общем, вышел самый отвратительный скандал, какой только можно вообразить.

То есть в официальном отношении никакого скандала не было, потому что конфузную историю замяли, но уже назавтра о “бенефисе” тайного советника со всеми эпатирующими и, как водится, еще преувеличенными подробностями знали и город К., и К-ская губерния.

Носачевский подал в отставку по собственной воле и уехал из К. навсегда, ибо оставаться не было никакой возможности. Посреди самого серьезного, даже научного разговора собеседник вдруг начинал багроветь, раздуваться от сдерживаемого хохота и усиленно прочищать горло – видно, представлял себе проректора не при анненской звезде, а в чепчике и розовой подвязке.

История имела для Серафима Викентьевича и иные печальные последствия. Мало того, что с тех пор он совершенно утратил интерес к прекрасному полу, но еще и начал неавантжно трясти головой, нервически дергать глазом, да и былой научной блистательности в нем больше не наблюдалось.

Но и шалуну проказа с рук не сошла. Разумеется, все тотчас узнали, кто сыграл с проректором этакую шутку (Алексей Степанович со товарищи не больно-то и таили, чьего авторства сия реприза), и губернское начальство дало бывшему студенту понять, что ему будет лучше переменить место жительства.

Тогда-то безутешная мать и написала нашему преосвященному, моля взять непутевого отпрыска майора Ленточкина в Заволжск под свой пастырский присмотр, приспособить к какому-нибудь делу и отучить от глупостей и

озорства.

Митрофаний согласился – сначала в память о боевом товарище, а после, когда познакомился с Алексеем Степановичем поближе, уже и сам был рад такому подопечному.

* * *

Ленточкин-младший пленил строгого епископа бесшабашной дерзостью и полным пренебрежением к своему во всех отношениях зависимому от владыки положению. То самое, чего ни от кого другого Митрофаний ни за что бы не снес – непочтительность и прямая насмешливость, – в Алексее Степановиче владыку не сердило, а лишь забавляло и, возможно, даже восхищало.

Начать с того, что Алеша был безбожник – да не из таких, знаете, агностиков, каких сейчас много развелось среди образованных людей, так что уж кого и ни спросишь, чуть не каждый отвечает: “Допускаю существование Высшего Разума, но полностью за сие не поручусь”, а самый что ни на есть отъявленный атеист. При первой же встрече с преосвященным на архиерейском подворье, прямо в образной, под лучистыми взорами евангелистов, праведников и великомучениц, между молодым человеком и Митрофанием произошел спор о всеведении и милосердии Господа, закончившийся тем, что епископ выгнал богохульника взашей. Но после, когда остыл, велел снова послать за ним, напоил бульоном с пирожками и говорил уже по-другому: весело и приязненно. Приискал молодому человеку подходящую должность – младшего консисторского аудитора, определил на квартиру к хорошей, заботливой хозяйке и велел бывать в архиерейских палатах запросто, чем Ленточкин, не успевший обзавестись в Заволжске знакомствами, пользовался безо всяких церемоний: и трапезничал, и во владычье библиотеке часами просиживал, и даже подолгу болтал перед Митрофанием о всякой всячине. Очень многие почли бы за великое счастье послушать речи епископа, чья беседа была не только назидательна, но и в высшей степени усладительна, Ленточкин же все больше разглагольствовал сам – и Митрофаний ничего, не пресекал, а слушал с видимым удовольствием.

Произошло это сближение вне всякого сомнения из-за того, что среди всех человеческих качеств владыка чуть ли не самые первые места отводил остроте ума и неискательности, а Ленточкин обладал этими характеристиками в наивысшей степени. Сестра Пелагия, которая с самого начала невзлюбила Алексея Степановича (что ж, ревность – чувство,

встречающееся и у особ иноческого звания), говорила, что Митрофаний благоволит к мальчишке еще и из духа соревновательности – хочет расколоть сей крепкий орешек, пробудить в нем Веру. Когда монахиня уличила владыку в суетном честолюбии, тот не стал спорить, но оправдался, говоря, что грех это небольшой и отчасти даже извиняемый Священным Писанием, ибо сказано: “Глаголю вам, яко тако радость будет на небеси о едином грешнице кающемся, нежели о девяностых и девяти праведник, иже не требуют покаяния”.

А нам думается, что кроме этого похвального устремления, имеющего в виду спасение живой человеческой души, была еще и психологическая причина, в которой преосвященный скорее всего сам не отдавал себе отчета. Будучи по своему монашескому званию лишен сладостного бремени отцовства, Митрофаний все же не вполне изжил в себе соответствующий эмоциональный отросток сердца, и если Пелагия до известной степени стала ему вместо дочери, то вакансия сына до появления Алексея Степановича оставалась незанятой. Проницательный Матвей Бенционович, сам многодетный и многоопытный отец, первым обратил внимание сестры Пелагии на возможную причину необычайной расположенности преосвященного к дерзкому юнцу и, хоть в глубине души был, конечно, уязвлен, но нашел в себе достаточно иронии, чтоб пошутить: “Владыка, может, и рад бы был меня в сыновьях держать, но ведь тогда пришлось бы в придачу дюжину внуков принимать, а на такой подвиг мало кто отважится”.

Находясь в обществе друг друга, Митрофаний и Алеша более всего напоминали (да простится нам столь непочтительное сравнение) большого старого пса с задиристым кутенком, который, резвясь, то ухватит родителя за ухо, то начнет на него карабкаться, то цапнет мелкими зубками за нос; до поры до времени великан сносит сии приставания безропотно, а когда щенок слишком уж разбоится, слегка рыкнет на него или прижмет к полу мощной лапой – но легонько, чтоб не сокрушить.

На следующий день после знаменательного чаепития епископу пришлось уехать по неотложному делу в одно из отдаленных благочиний, но своего решения Митрофаний не забыл и сразу по возвращении вызвал Алексея Степановича к себе, а еще прежде того послал за Бердичевским и Пелагией, чтобы объяснить им свои резоны уже безо всякой парадоксальности.

– В том чтоб именно Ленточкина послать, обоюдный смысл имеется, – сказал владыка своим советчикам. – Во-первых, для дела лучше, чтобы химерами этими занялась не какая-нибудь персона, тяготеющая к мистицизму (тут преосвященный покосился на духовную дочь), а человек самого что ни на есть скептического и даже материалистического миропонятия. По складу своего характера Алексей Степанович склонен во всяком непонятном явлении докапываться до сути и на веру ничего не принимает. Умен, изобретателен, да и весьма нахален, что в данном случае может оказаться кстати. А во-вторых, – Митрофаній воздел палец, – полагаю, что и для самого посланного эта миссия будет небесполезна. Пусть увидит, что есть люди – и многие, кому духовное дороже плотского. Пусть подышит чистым воздухом святой обители. Там в Арарате, я слышал, воздух особенный: вся грудь звенит от восторга, будто выдыхаешь из себя скверное, а вдыхаешь райскую амброзию.

Архиерей потупил взор и присовокупил тише, словно нехотя:

– Мальчик-то он живой, пытливый, но в нем стержня нет, который человеку единственно Вера дает. Кто умом поскуднее и чувствами потусклее, может, пожалуй, и так обойтись – проживет как-нибудь, а Алеше без Бога прямая гибель.

Бердичевский с Пелагией тайком переглянулись и по разом возникшему молчаливому уговору возражать владыке не стали – это было бы неуважительно, да и жестоко.

А вскоре явился и Алексей Степанович, не подозревавший о том, какие дальние виды составил на него владыка.

Конец ознакомительного фрагмента. Читать дальше:

[Перейти](#)